



КОНТАКТЕР-666. ПОТОК БРЕДА

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Геннадий Колодкин

18+

Геннадий Колодкин

Контактер-666. Поток бреда

<https://litres.ru/74658623>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он стал фантомом. Прозрачным, бесплотным сгустком воспоминаний и сожалений. Он видел, как его похоронили. Видел, как плакала жена, как повзрослели дети, как мир, который он покинул в свои семьдесят два, неумолимо двигался вперед без него. Он был наблюдателем, призраком, прикованным к теням прошлого. Это была первая стадия — фантомное обитание. Тоскливое, бессмысленное и бесконечное.

Но однажды что-то изменилось. Пустота вокруг него начала обретать контуры. Он почувствовал тягу, невидимую силу, которая повлекла его назад. Не вперед, в неизвестность, а именно назад, сквозь ткань собственной жизни.

Началась работа.

Геннадий Колодкин

Контактер-666.

Поток бреда

КОНТАКТЕР-666. ПОТОК БРЕДА

Бумага стерпит

Геннадий Колодкин

СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ

1.

Пробую писать без клавиатуры. Что ж, век живи — век учись, умирать все равно дурачком придется. Селяви.

Что еще? Нынче разошелся с Карасиковым. Мне кажется, это серьезный разрыв. Он верун, да я не верун. Кошка с собакой не подружится. Я ему, Карасю, изначально внушал, что я атеист. Видно, он не поверил. А зря. Атеиста только могила исправит. До могилы у меня еще время есть, а вот приятеля я, кажется, нынче и потерял. Эх, судьба писательская, вот ты какая!

На меня, мне кажется, и Щеглов косо смотрит. Вчера с ним было короткое общение, я затем использовал его разговорную фактуру в шутовском рассказе. Боюсь, что Вася на это посмотрел отрицательно. Реально получается, что я на-

ши встречи стенографирую, потом из них собираю свои рассказы да публикую. Его это, я заметил, коробит. Я бы, напротив, только добро на подобное приятельское отношение дал, а вот Вася Щеглов так не соглашается. Мы с ним разные. Что за люди? Что за народ? Я точно не такой, как они, я в разы проще. Все они такие серьезные! Карась — искатель глубинных смыслов жизни. Щегол подозрителен и осторожен. Все они такие напряженные, такие «правильные», что хочется послать их обоих лесом.

Мне достаточно одного Пети Фантомаса, долбаеба, гондона штопаного. До сих пор раздражение на него не утихает во мне. Козлина. Еще приятелем столько лет представлялся. А сам... Ну их всех! Пошли все в глубокую задницу! Настоху-ело подстраиваться под каждую блядь. В конце концов, я сам по себе, я на вольных хлебах. Был вольным — и останусь в гордом одиночестве. Видно, такова моя судьба. Судьба писателя.

2.

Но вот, пожалуйста, прилетело. Это после публикации «Гавайского синдрома» на «Одноклассниках»:

Вася Щеглов:

— Марк, я тебя попрошу не выкладывать больше в сетях упоминание моего имени, фамилии без моего согласия. Мне не нравятся такие шутки, и я сейчас не шучу.

Марк:

— Ок. Не буду.

Вася Щеглов:

— И если ты порядочный человек, потрудись поменять мою фамилию и имя в твоих материалах в сетях. Надеюсь на твою порядочность.

Марк:

— Думал, что тебе приятно будет, но ошибся. Извини.

Вася Щеглов:

— Извини. Но из-за твоей, мягко скажу, непредсказуемости вынужден приостановить дальнейшее общение.

Марк:

— Ок. Не судьба. Удачи тебе, Щегол!



3.

И вот еще один гвоздь в крышку гроба моей общительности. Щеглов отвалился. Карась отпочковался. Фантомас давно уже в категории «сжечь и пепел развеять». Остался кто? Никого. Пустота. Звонящая, как натянутая струна, тишина в телефоне. Никто не пишет, никто не звонит. И слава богу.

А ведь я, дурак, и правда думал, что делаю ему приятное. Ну что такого? Упомянул приятеля в рассказе. Не в протоколе допроса, не в списке должников. В литературе, мать ее! Люди за такое деньги платят, чтобы их имена где-то прозвучали, чтобы остаться не просто строчкой в паспорте, а персонажем, пусть и гротескным. Это же почти бессмертие, пусть и крошечное, на уровне моей скромной аудитории. А он? «Надеюсь на твою порядочность». Тьфу! Какая порядочность, Вася? Мы же не в банке кредит делим. Мы живем, общаемся, и все это — материал. Глина, из которой я леплю свои кривые горшки. Он что, думал, я с ним о погоде беседую из чистого любопытства? Я впитываю, я запоминаю, я перерабатываю. Любой писатель — это стервятник, падальщик, который тащит в гнездо все, что плохо лежит: фразы, жесты, интонации, обиды, чужие истории. Без этого ремесло мертво.

Они все хотят быть «в моменте». Жить «настоящим». А я живу тем, что из этого настоящего можно будет слепить потом. Они видят жизнь, а я — черновик. И в этом, видимо,

и есть та пропасть, которая разверзлась сначала между мной и Карасем, а теперь и с Щегловым. Карась искал в жизни Бога, а я — сюжет. Щеглов искал стабильности и уважения к личным границам, а я — фактуру. Мы говорили на разных языках.

И вот сижу я теперь, смотрю на экран. Переписка с Васей — тоже готовый эпизод. Короткий, хлесткий, полный невысказанной обиды с обеих сторон. Его — на мое «предательство». Моей — на его «мещанство». И рука сама тянется вставить это в новый рассказ. А почему нет? Он же сам отказался от общения. Значит, все договоренности аннулированы. Теперь он просто материал. Персонаж по имени Вася Щеглов, который обиделся на своего создателя. Забавно.

Может, в этом и есть настоящая судьба писателя? Не в гонимых и признании, а в тотальном, всепоглощающем одиночестве. Ты превращаешь живых людей в буквы, а они, в отместку, превращают тебя в пустое место. Справедливый обмен. Ты получаешь вечность для своих героев, а они забирают у тебя настоящее. Что ж, я согласен. По крайней мере, в этом есть честность. И никакой блядской необходимости подстраиваться.

4.

Я даже благодарен ему, этому Щеглову. Он, сам того не ведая, подарил мне свободу. Свободу не оглядываться, не думать: «А что скажет Вася? А не обидится ли Карась?» Теперь

можно все. Можно вывернуть их наизнанку, приписать им самые нелепые мысли, заставить их говорить то, о чем они в жизни и помыслить боялись. Они больше не мои приятели. Они — мои куклы. И я буду дергать за ниточки с упоением, с мстительным наслаждением отвергнутого.

А Фантомас? О, этот контрацептив штопанный заслуживает отдельного романа. Не рассказа, не зарисовки — эпоса. «Сага о мелком жлобе». Я соберу все его словечки, все его ужимки, всю его гнилую суть, которую он так тщательно маскировал под маской «своего парня», и вылеплю из этого памятник. Памятник человеческой низости. И поставлю его на главной площади своего творчества. Пусть стоит, воняет. Может, хоть так от него будет какая-то польза. Он ведь всегда хотел славы, признания. Ну что ж, Петя, я тебе ее обеспечу. Таковую, что дети твои, если они у тебя когда-нибудь будут, фамилию сменят.

Странное чувство. Вроде бы должен страдать, выть от одиночества, а на душе — покой. Какой-то холодный, кристальный покой. Как в морге. Все лишнее отрезано. Все связи, что тянули соки, обрублены. Остался только я и белый лист. Или, в данном случае, светящийся экран. Идеальные отношения. Экран не обидится, не предъявит за нарушение личных границ, не упрекнет в непредсказуемости. Он просто примет все, что я в него выплесну.

Может, я и есть тот самый «токсичный» человек, о котором так любят писать в модных пабликах? Абьюзер, манипу-

лятор, использующий людей в своих корыстных целях. Пусть так. Я принимаю этот титул. Но тогда и они — не жертвы. Они — сырье. Добровольно пришедшее на переработку. Никто же не заставлял их со мной общаться, делиться мыслями, раскрываться. Они сами принесли мне свою глину. А теперь удивляются, что я не вазу из нее слепил, а ночной горшок. Так ведь и глина была, прямо скажем, с говнецом.

Вспоминаю, как Карась, закатив глаза, вещал о «вибрациях души» и «энергетических потоках». Я слушал, кивал, а сам думал: «Отличная фраза для персонажа-шизотерика». А он, наверное, видел в моих глазах понимание, родственную душу. Какое же тотальное, какое вселенское непонимание друг друга! Мы были как два поезда, идущие по соседним путям в одну сторону. Вроде бы рядом, можно даже рукой помахать, но каждый — в своем мире, со своими пассажирами и своим пунктом назначения. Мой пункт — «Финал истории». А их — «Счастье», «Покой», «Гармония». Скучные, блядь, станции. Тупиковые ветки.

5.

Мой поезд мчится дальше, оставляя их позади, машущих платочками на перроне. Или, скорее, показывающих средний палец. Да и хрен с ними. Зато в моем вагоне просторно. Можно вытянуть ноги, положить их на противоположное сиденье, закурить прямо в купе. Никто не скажет: «Марк, здесь не курят», «Марк, это неэтично», «Марк, ты наруша-

ешь мои границы». Да пошли вы со своими границами! Весь мир — одна большая коммуналка, а они себе участки с колючей проволокой нарезали. Моя граница — это последняя страница рукописи. Вот там я заканчиваюсь. А до тех пор — я везде. Я просачиваюсь сквозь их щели в заборе, я подслушиваю их кухонные ссоры, я коллекционирую их оговорки. Я — сквозняк в их уютном мирке. И они правы, что захлопывают форточки. От меня и впрямь несет холодом.

Иногда мне кажется, что я не человек вовсе, а какое-то записывающее устройство. Диктофон с функцией ходьбы и пищеварения. Мозг фиксирует, пальцы воспроизводят. Чувства? Да, они есть, но они тоже — лишь топливо. Раздражение на Фантомаса — отличный высокооктановый бензин для памфлета. Обида на Щеглова — качественная присадка, придающая тексту горечь и достоверность. Ностальгия по временам, когда мы с Карасем еще могли говорить, — дешевый керосин для лирических отступлений, чтобы разбавить концентрат желчи. Все идет в дело. Безотходное производство.

Они думают, я их предал. Какая наивность! Предать можно равного. А они для меня — не ровня. Они — экспонаты. Я их бережно поместил под стекло, снабдил этикетками: «Верун обыкновенный», «Мещанин осторожный», «Жлоб пахучий». И теперь вожу экскурсии для самого себя, а иногда и для немногочисленных читателей. «Посмотрите налево, дамы и господа, это типичный представитель вида Номо

Sapiens Correctus. Обратите внимание на напряженную линию плеч и поджатые губы. Он очень боится, что кто-то увидит его без штанов, хотя сам постоянно норовит заглянуть под юбку ближнему своему».

Самое смешное, что они ведь тоже меня используют. Карась — как удобного слушателя для своих проповедей, которому можно безнаказанно нести любую ахиною. Щегол — как шута, который развлекает его в серые будни, но которого стыдно привести в приличное общество. Фантомас — как кошелек и жилетку, в которую можно было поплакаться о своей никчемности, предварительно вывернув мои карманы. Мы все друг для друга были функциями. Просто моя функция оказалась долговечнее. Их потребность во мне иссякла, а моя потребность в них как в материале — вечна. Я их увековечил. Я их бог и их палач одновременно. И от этой мысли по позвоночнику пробегает не то чтобы дрожь, а какое-то глубокое, извращенное удовлетворение. Я победил. В этой маленькой, никому не нужной войне я вышел абсолютным победителем. И трофеи мои — не города и не золото, а слова. Их слова, которые теперь стали моими. Навсегда.

6.

Навсегда. Это слово отдается в голове гулким эхом, как в пустом соборе. А ведь и правда, теперь здесь пусто. Храм имени меня, где на алтаре лежат распятые образы бывших друзей. Я их жрец и их прихожанин. Сам служу мессу, сам

ее слушаю. И сам же подношу себе чашу с вином, в котором вместо крови — чернила. Пьянящая штука, доложу я вам. Гораздо крепче любого алкоголя. От водки наутро болит голова, а от этого — ничего. Только ясная, звенящая пустота и желание новой дозы. Новой истории, новой жертвы.

А где ее взять? Вот в чем вопрос. Старые запасы подъедены. Карась, Щегол, Фантомас — эти тушки я еще долго буду обглаживать, до самых косточек, но свежего мяса уже хочется. Раньше оно само шло в руки. Люди тянулись, раскрывались, несли свою дичь, как дары. Теперь вокруг меня образовалась выжженная земля. Санитарная зона. Все, кто мог бы стать персонажем, чувят неладное за версту. Видят во мне не собеседника, а вербовщика, коллектора чужих душ. И шарахаются, как от прокаженного.

Придется менять тактику. Становиться охотником, а не собирателем. Выходить в город, садиться в кафе, вслушиваться в обрывки чужих разговоров за соседними столиками. Записывать в блокнот, как шпион. «Она ему говорит... а он ей, представляешь...». Вылавливать из мутного потока уличной речи жемчужины чужой боли, глупости, радости. Стать ухом, огромным, всеслышащим ухом города, приросшим к телу одинокого мужика. Это уже не стервятник, это паразит. Солитер, живущий в кишечнике мегаполиса и питающийся его соками. Что ж, тоже роль. Даже более честная. Тут уж точно никто не упрекнет в предательстве. Я для них — пустое место, элемент интерьера. А они для меня — бес-

платное реалити-шоу.

Или можно пойти дальше. Создавать ситуации. Провоцировать. Бросить на тротуар кошелек и наблюдать из-за угла, кто подберет и что сделает. Позвонить по случайному номеру и завести разговор с незнакомцем, представившись кем-то другим. Стать мелким бесом, который не столько творит зло, сколько вносит в упорядоченный мир легкий хаос, чтобы потом зарисовать траекторию разлетающихся осколков. Это уже не просто ремесло, это — эксперимент. Я — лаборант, а весь мир — моя чашка Петри. И я подсаживаю в нее разные бактерии, чтобы посмотреть, какая плесень вырастет.

Страшно ли это? Наверное. Со стороны это выглядит как распад личности. Но изнутри ощущается как обретение высшей степени контроля. Когда ты не участник игры, а ее создатель, правила перестают иметь значение. Морали нет. Есть только драматургия. Этично ли было убить старуху-процентщицу? Для Раскольникова — вопрос на целый роман. А для Достоевского — просто отличный зачин. Я выбираю позицию Достоевского. Мне так удобнее. Мне так легче дышать.

И вот уже пальцы сами бегут по экрану, набирая новый текст. Про человека, который потерял всех друзей и понял, что это и есть счастье. Про то, как он превратил их в марионеток и устроил свой собственный кукольный театр. Он сидит в темном зале, один-одинешенек, и смотрит на сцену, где его тряпичные куклы разыгрывают драму его жизни. И сме-

ется. Не весело, нет. А так, как смеются боги. Устало, все-понимающе и немного брезгливо. И в этом смехе — вся его судьба. Судьба писателя. Конец. Или только начало?

7.

Начало, конечно. Конец — это когда занавес, аплодисменты, цветы. Или помидоры. А у меня в зале никого нет, кроме меня самого. Так что представление будет длиться вечно. Бесконечный спектакль для одного зрителя. И актеры никогда не устанут, потому что они не живые. Они — концентрат, выжимка из тех, кто когда-то был живым в моей жизни. Идеальная труппа. Не просят гонораров, не устраивают пьяных дебошей, не интригуют за кулисами.

Я перечитываю последнее предложение: «И в этом смехе — вся его судьба. Судьба писателя. Конец. Или только начало?» И понимаю, что сам себя обманываю. Пытаюсь напустить тумана, придать своей мелкой драме вселенский масштаб. Достоевский, Раскольников... Смешно. Какой из меня Достоевский? Я просто Марк, мужик средних лет, который рассорился с тремя знакомыми и теперь пытается выстроить из этого философскую систему, оправдывающую его собственную неуживчивость и, чего уж там, мудачество.

Ведь если быть до конца честным, то дело не в их «мещанстве» или «шизотерике». Дело во мне. Это я не умею дружить. Не умею просто быть рядом, не оценивая, не препарируя, не прикидывая, как этот диалог будет смотреться

на бумаге. Я не слушаю, я подслушиваю. Я не сочувствую, я коллекционирую эмоции. Они это почувствовали. Не умом, так кожей. Почувствовали холод, сквозняк, о котором я сам же и написал. Они увидели за моей улыбкой щелчок затвора фотоаппарата. Услышали за моими вопросами скрип пера стенографиста. И им стало неуютно. Как любому нормальному человеку, который понимает, что его не видят, а разглядывают под микроскопом. Они сбежали не от писателя. Они сбежали от вивисектора.

И вся эта поза — «я выше этого», «я превращаю жизнь в искусство», «одинокчество — удел гения» — всего лишь анестезия. Обезболивающее для ампутированной души. Потому что где-то очень глубоко, под слоями цинизма и желчи, сидит маленький испуганный мальчик, который отчаянно хочет, чтобы его любили. Просто так. Не за остроумные рассказы, не за хлесткие формулировки, а просто за то, что он есть. Но этот мальчик так давно заперт в подвале, что я уже почти не слышу его голоса. А когда слышу, торопливо включаю погромче музыку своего высокомерия.

Вот сейчас, например. Я сижу, и тишина в квартире давит на уши. Раньше в эту тишину мог ворваться звонок от Карася с очередной «гениальной» идеей о спасении мира. Или сообщение от Щеглова с дурацкой картинкой из интернета. Или даже пьяный бред Фантомаса. Это был шум жизни. Раздражающий, бестолковый, но живой. Теперь его нет. И в этой стерильной тишине я слышу только гудение холодиль-

ника и стук собственных пальцев по экрану. Я променял их несовершенную, но теплую реальность на свою идеальную, но ледяную прозу. Равноценный ли обмен? Сегодня кажется, что да. А что я скажу завтра, когда холодильник сломается и единственным звуком в мире останется биение моего собственного сердца?

И ведь самое паршивое, что я не могу остановиться. Этот механизм уже запущен и работает сам по себе. Даже эти мысли, это минутное прозрение, это самокопание — я уже вижу, как оно ложится в абзац. Как становится частью образа «рефлексирующего циника». Я превращаю в текст даже собственное раскаяние. Я монетизирую свою боль, переводя ее в буквы. Нет ничего святого. Нет ничего, что не могло бы стать материалом. Я сам для себя — главный персонаж. Самый жирный кусок мяса на вертеле. И я поджариваю себя со всех сторон, подливая масла и посыпая специями, чтобы читателю было вкуснее. А что останется, когда все будет съедено? Обглоданный скелет? Или просто горстка пепла? Вопросы, вопросы. Хорошие вопросы для финала очередной главы. И снова щелчок. Записано. Переработано. Упаковано. Продано самому себе.

8.

Продано самому себе. Замкнутый цикл. Уроборос, пожирающий собственный хвост. И самое забавное, что в этом самопожирании есть своя, особая сладость. Это как расчесы-

вать зудящую рану: больно, но остановиться невозможно. И чем сильнее чешешь, тем больше она становится, тем больше зудит. Моя литература — это мой дерматит души.

А ведь был момент, когда все было иначе. Когда я мог просто пить пиво с Карасем, слушая его бредни не как материал, а как бредни друга. Искренне спорить, смеяться, хлопать по плечу. Когда мог смотреть на Щегла не как на типаж, а как на Васю, хорошего, в сущности, мужика, просто немного зажатого. Когда даже Фантомас казался не ходячим пособием по токсикологии, а просто Петей, сложным, но своим. Где та точка, в которой произошел сдвиг? Когда наблюдатель убил во мне участника?

Наверное, тогда, когда я впервые получил похвалу за рассказ, списанный с реальности. Когда кто-то сказал: «Как жизненно! Как точно подмечено!» Этот первый укол читательского одобрения оказался сильнее любой дружбы. Это был наркотик. И я подсел. Я понял, что моя способность видеть людей насквозь, замечать их трещинки, их смешные и жалкие черты — это не проклятие, а товар. Ходовой товар. И я стал поставщиком. Сначала робко, меняя имена и обстоятельства до неузнаваемости. Потом смелее, оставляя узнаваемые детали, как пасхалки для посвященных. А потом и вообще обнаглел, перестал прятаться. Я решил, что мой «талант» дает мне индульгенцию. Право на все. Право на вторжение.

И вот результат. Я сижу в своей башне из слоновой кости, которая на поверку оказывается одиночной камерой. Иде-

альная звукоизоляция. Идеальные условия для творчества. Но для того, чтобы писать о людях, нужно быть среди них. А как быть среди них, если они от тебя бегут? Получается, я обречен до конца жизни пережевывать старый материал. Как старик, который снова и снова рассказывает одни и те же истории из своей молодости, потому что новых уже нет. Мой творческий капитал — это три бывших друга. И он не возобновляемый. Рано или поздно я выжму из них все, до последней капли. И что тогда? Писать о гудении холодильника? О трещине на потолке? О собственном отражении в темном экране монитора?

Какая ирония. В погоне за вечностью я рискую остаться с абсолютно пустым настоящим. И эта пустота со временем просочится и в тексты. Они станут вымученными, беззубыми, вторичными. Читатель не дурак, он почувствует запах тлена, запах консервов. Он поймет, что автор давно не дышал свежим воздухом, не говорил с живым человеком, не совершал глупостей, не влюблялся, не ненавидел по-настоящему. Он поймет, что автор сам стал персонажем. Застывшим, как муха в янтаре. Персонажем рассказа об одиноком писателе, который всех предал ради своего ремесла. И это будет самый скучный рассказ на свете. Потому что в нем не будет конфликта. Не будет жизни. Только холодный, стерильный финал.

Может, еще не поздно? Может, можно все откатить назад? Написать Щеглову. Не «извини, я был неправ», а что-

то простое, человеческое. «Вася, как дела? Видел тут фильм, подумал, тебе бы понравилось». Без задней мысли. Без расчета на то, что его ответ станет новой главой. Просто так. Позвонить Карасю и сказать: «Старик, я тут подумал, а ведь в твоих идеях про энергетические потоки что-то есть... Да ладно, шучу. По пиву?» Попытаться вытащить из себя того Марка, который еще не был писателем. Который был просто человеком.

Но рука не поднимается. Пальцы застыли над экраном. Потому что я боюсь. Боюсь, что они не ответят. Или ответят холодно, вежливо пошлют. И это будет уже не литературное поражение, а настоящее, человеческое. К тому, что тебя не читают, можно привыкнуть. А к тому, что ты никому не нужен, — нет. И мой цинизм, моя броня писателя — это ведь еще и защита от этого страха. Гораздо проще убедить себя, что это я их всех отверг, что это мой осознанный выбор, моя высокая трагедия. А не то, что меня, как неисправную, токсичную вещь, просто вынесли на помойку. И правильно сделали.

9.

Телефон завибрировал. Незнакомый номер.

— Алло.

— Марк? Привет. Это Лена. Сестра Карасикова.

Сердце екнуло.

— Лена, привет. Что-то случилось?

— Случилось... Андрей в больнице. Сердце прихватило вчера вечером. Сильно.

Мир качнулся. Карась. Верун. Искатель смыслов. Тот, чей звонок я вчера проигнорировал.

— Что... как он?

— Стабильно, но врачи говорят, все серьезно. Он... он просил тебе передать... — Лена запнулась. — Сказал, что был неправ. Что дружба важнее любых споров о Боге. Просил, чтобы ты зашел, если сможешь.

Я молчал в трубку, а в голове стучало одно: «Кошка с собакой не подружится». А если собака попала под машину? Кошка что, пройдет мимо, фыркнув?

— Я приеду, — сказал я хрипло. — Скажи адрес.

Я положил трубку и посмотрел на экран ноутбука. На открытый файл с рассказом про Петра Огурцова. Про обидчивого, подозрительного и осторожного человека. А может, он не подозрительный, а просто ранимый? Может, Карась не «верун», а человек, которому страшно и нужна надежда? Может, это не они «не такие», а я сам залез в свою скорлупу из цинизма и писательского высокомерия и не вижу ничего, кроме «фактуры» и «материала»?

Я закрыл ноутбук. К черту голосовой набор. К черту рассказы. Сегодня я не писатель. Сегодня я попробую снова стать человеком. Другом. Если еще не слишком поздно.

Видно, такова моя судьба. Не писательская. А просто судьба. И она, кажется, посложнее любого сюжета.

ОРАТОРИЯ ОДНОГО БАРИТОНА

Я работаю в хорУ, все орут - и я ору.

ХОР «ГЛАС



Меня зовут Иннокентий. Мне тридцать два, и у меня есть тайна. Днем я — скромный системный администратор в конторе «Вектор-Плюс». Я тихо перезагружаю зависшие компьютеры, меняю картриджи в принтерах и отвечаю на панические звонки бухгалтерии фразой: «Вы пробовали выключить и снова включить?». Я — человек-невидимка, серый кардинал офисной техники.

Но дважды в неделю, по вторникам и четвергам, я преображаюсь. Я снимаю свой застиранный свитер с оленями, надеваю строгий черный джемпер и иду на репетицию.

Я работаю в хорУ.

Не в том хоре, где ангельские голоса выводят «Аве Мария». Нет. Наш хор называется «Глас Народа», и это, мягко говоря, авангардное искусство. Наш руководитель, маэстро Всеволод Аркадьевич, — гений с горящими глазами и седой гривой волос, торчащей во все стороны, словно он только что пережил удар молнии. Он считает, что музыка должна выражать первобытные эмоции. А какая эмоция самая первобытная? Правильно.

Ор.

Сегодня у нас премьера. Мы исполняем новое произведение Всеволода Аркадьевича под названием «Симфония урбанистического отчаяния в до-диез миноре». Зал полон. В первом ряду сидят какие-то критики с кислыми лицами и блокнотами. Я стою в секции баритонов, между грузным Се-

мёном, водителем троллейбуса, и хрупкой Вероникой Павловной, учительницей младших классов.

Всеволод Аркадьевич взмахивает дирижерской палочкой, похожей на волшебную.

— Первая часть! «Утро в переполненной маршрутке»! Тенора, ваш выход! Нежный, раздраженный гул!

Тенора начинают гудеть, как рой недовольных пчел. Звук нарастает, превращаясь в скрежет.

— Альты! Добавьте нотки пассивной агрессии! Представьте, что вам наступили на ногу!

Альты вступают с пронзительным, визгливым стоном. Критики в первом ряду начинают что-то быстро строчить.

— Басы! — командует маэстро. — Вы — двигатель этого ржавого ведра! Дайте мне рокот безысходности!

Басы гудят так, что у меня вибрируют пломбы в зубах.

Я стою и жду своей партии. Моя роль в первой части — «Человек, которому отдавили любимый мозоль». Я репетировал это три недели. Я вживался в образ. Я даже специально носил тесные туфли, чтобы лучше понять своего персонажа.

— Баритоны! — глаза Всеволода Аркадьевича впиваются в меня. — Кеша! Твой выход! Дай мне боль! Дай мне всю скорбь маленького человека!

Я делаю глубокий вдох. Вспоминаю зависший сервер, пролитый на клавиатуру кофе, бесконечный запрос «а почему интернет медленно работает?». Я собираю всю эту экзистенциальную тоску в своих легких.

И я ору.

Это не пение. Это чистый, первозданный, катарсический ор. «А-А-А-А-А-А!» — несется мой баритон под своды зала. Это крик души, зажатой в тисках мегаполиса.

Семён, мой сосед, подхватывает. Его партия — «Водитель, которого все достали». Он ревет, как медведь-шатун. Вероника Павловна, обычно тихая, как мышка, вдруг издает такой ультразвуковой визг, что у критиков из рук выпадают ручки. Ее партия — «Учительница, увидевшая цены на канцтовары».

Все орут. И я ору.

Вторая часть — «Очередь в поликлинике». Здесь мы используем технику «шепотного скандала». Мы шипим, цокаем языками и громко вздыхаем. Моя сольная фраза: «Я только спросить!». Я произношу ее с такой смесью наглости и отчаяния, что одна дама в зале сочувственно кивает.

Третья часть, апофеоз — «Родительское собрание».

— ВСЕ ВМЕСТЕ! ФОРТИССИМО! — ревет Всеволод Аркадьевич, размахивая палочкой так, будто отгоняет демонов. — ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВАМ ОБЪЯВИЛИ О СБОРЕ ДЕНЕГ НА НОВЫЕ ШТОРЫ!

И тут начинается вакханалия. Зал содрогается. Тенора воют о несправедливости бытия. Альты рыдают о разбитых надеждах. Басы рокочут проклятия. А мы, баритоны, мы — глас разума, который никто не слышит. Мы орем что-то нечленораздельное, но очень, очень убедительное.

Все орут. И я ору.

Когда последний аккорд нашего крика затихает в оглушенном зале, наступает тишина. Мертвая, звенящая. Критики сидят с открытыми ртами.

И вдруг один из них, самый суровый, с седой бородкой, медленно встает. И начинает хлопать. Сначала неуверенно, потом все громче и громче. К нему присоединяется весь зал. Они аплодируют стоя. Кто-то кричит «Браво!».

Мы стоим на сцене, потные, охрипшие, но абсолютно счастливые. Мы выплеснули все.

После концерта ко мне подходит тот самый критик.

— Молодой человек, — говорит он, крепко пожимая мне руку. — Ваша партия «отдавленного мозоля»... это было гениально! Такая глубина, такая трагедия!

Я скромно киваю. Что я могу ему сказать? Что завтра мне снова идти на работу, чинить принтер, который зажевал бумагу, и терпеливо объяснять менеджеру по продажам, где на клавиатуре находится кнопка «Any key»?

Нет. Я просто улыбаюсь. Ведь я знаю свой секрет. Я работаю в хору. И пока все вокруг орут, я могу орать вместе с ними. И мне за это еще и аплодируют. И это, я вам скажу, лучшая работа в мире.

АНДРЕЙ, ПРИВЕТ!

P.S.

Извини... Мне кажется, я понял тебя. Это твоя позиция.

Твой путь. Тогда ищи ответы на свои вопросы сам. Если ты действительно ищешь ответы, а не просто играешь с формами. Я же вижу. Тебе не нужны готовые ответы. Ты к ним пока ещё не готов. Каждый должен пройти этот путь сам. Прости...

(Постскриптум из последнего письма Андрея К.)

Ну, всё верно ты понял про меня. Да я ж тебе сразу сказал, прямолинейно: я не ищу ответы, я их для себя давно нашёл, и они меня вполне устраивают. Картинка мира в моей голове меня устраивает за глаза. Мой мир прост, как три рубля: в нём нет никакого Бога. Всё крутится и эволюционирует без Него. Я — материалист. И я атеист. Я прямо так всем и заявляю. Мне не требуется, как чиновникам, накладывать на себя крестное знамение перед телевизионными камерами. Я вольный чел. И мне мой статус раздолбайский по кайфу.

Если я чего и недопонимаю, то я соглашаюсь с пунктом под номером раз, что знания человеческие ограничены. НЕ ДАНО. Как отрезано. Так задумано природой изначально: НЕ ДАНО. А не дано, потому что не надобно. Для выживания живой формы под брендом «Человек» того, что у него, двуногого, в башке есть, того и достаточно. Смысл жизни всякого биологического существа — в воспроизводстве такого же балбеса, как он сам. ВСЁ. ПИЗДЕЦ. Как ты ни заглядывай за этот интеллектуальный горизонт, там ДЛЯ ТЕБЯ ничего не приготовлено. Жаба в пруду дальше пруда ни-

чего не знает. Так и «гомо сапиенс» дальше своего носа никогда не увидит.



Вот моя картинка мира. И Бога так никогда не было. Поэтому что Бога не было никогда.

Вот и весь я, Марк.

Да, я лишь играю фактурой. Я играю визуальными формами в фотографии. Я играю буквочками, точечками, запятушками в текстах. Я просто играю — и, как ребёнок, люблю своими «песочными пирожками». Мне очень нравится проводить время в «песочнице».

И переделать меня невозможно. Я затвердел ещё при социализме. Меня уже не возьмёт никакой растворитель.

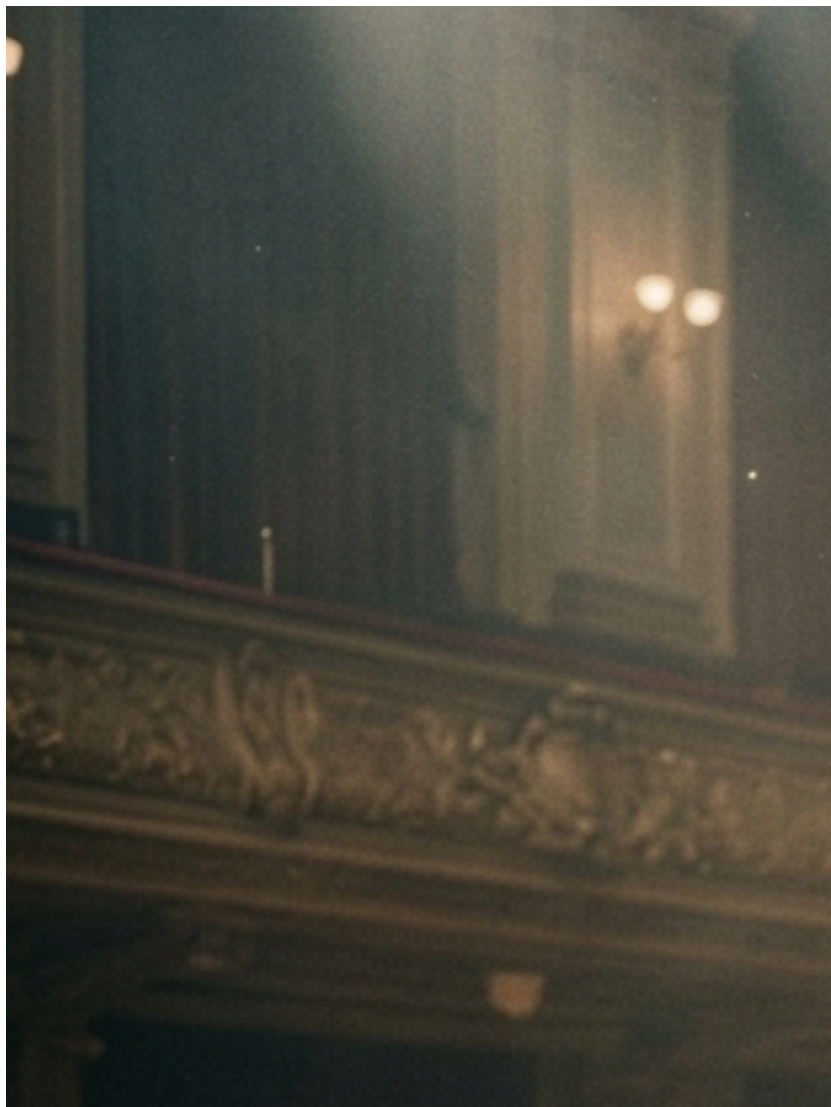
Кажется, я предельно ясно описал Себя любимого. И всякая дискуссия лишь делает меня твёрже.

А поскольку Бога нет, то и понятие «душа» — чья-то нелепая выдумка. Мне не о чем беспокоиться. Я помру — и стану землёй. Я просто развалюсь на дурацкие атомы. И меня такой финиш тоже устраивает. Я не желаю категорически прозябать ни в Раю, ни в Аду. Без меня! Я остаюсь на планете Земля в виде молекул и атомов. Я обожаю земную жизнь, и пошли все лесом!

Вот полный ответ. Похоже, ты теперь оборвёшь со мною все контакты. Я для тебя неподходящая «глина», я камень, который вот-вот превратится в речной песок... Быть песком на реке, где-нибудь на Медведице... а почему бы и нет?

ИЗ-ПОД ПАЛКИ

- Для чего оркестру дирижер? - Потому что оркестр играет «из-под палки».



Маэстро Арсений Романович Волков был человеком старой закалки. Его седые волосы, всегда идеально зачесанные назад, его строгий фрак и пронзительный взгляд из-под густых бровей внушали трепет. Но больше всего трепета внушала его дирижерская палочка. Тонкая, изящная, из черного дерева с серебряным наконечником, в его руках она превращалась то в волшебную палочку, то в рапиру, а то и в судейский молоток.

Оркестр его, мягко говоря, побаивался. Музыканты называли его за глаза «Инквизитором», а репетиции — «пытками Моцартом».

— Скрипки! — гремел голос Волкова, перекрывая даже фортиссимо. — Вы играете так, будто пилите дрова для моей дачи! Где полет? Где душа? Где трепет?!

Первая скрипка, юная и талантливая Лена, вжимала голову в плечи.

— Альты, — продолжал маэстро, поворачиваясь к ним, и альтисты инстинктивно съеживались. — Ваша партия звучит, как стон умирающего кита. В партитуре написано *dolce*, нежно! А у вас получается *doloroso*, скорбно! Вы что, уже хороните это произведение?

Сегодня на репетиции царила особенно гнетущая атмосфера. Давали «Планеты» Холста, и «Марс, вестник войны» звучал так, будто война уже была проиграна.

— Стоп! — взмах палочки был резким, как удар хлыста.

Музыка оборвалась на полуслове. В зале повисла звенящая тишина. — Что это такое?

Волков медленно спустился с дирижерского подиума. Музыканты замерли, боясь дышать.

— Я спрашиваю, что это такое? — повторил он, прохаживаясь между рядами. — Это не Марс. Это не бог войны. Это... это капризный ребенок, который топает ножкой, потому что ему не купили конфету!

Он остановился возле виолончелиста, пожилого и уважаемого Семена Марковича.

— Семен, дорогой, ваша виолончель плачет. Но она должна рычать! Где мощь? Где ярость?!

Семен Маркович, единственный, кто осмеливался иногда перечить маэстро, вздохнул:

— Арсений Романович, мы играем уже четвертый час. Люди устали.

— Устали? — Волков картинно вскинул бровь. — Бетховен был глухим, когда писал Девятую симфонию! Паганини играл со струнами из кишок! А вы «устали»? Музыка не терпит усталости! Музыка требует жертв!

Он вернулся на подиум и постучал палочкой по пюпитру.

— С пятьдесят седьмого такта. И я хочу услышать войну! Я хочу, чтобы стены этого зала дрожали! Чтобы слушатели в первом ряду вжимались в кресла от ужаса! Играйте!

И они заиграли. Но что-то было не так. Звук был механическим, вымученным. Музыканты смотрели не в ноты, а на

кончик его палочки, боясь пропустить хоть одно движение, хоть один гневный взгляд. Они играли не музыку. Они исполняли приказ.

Внезапно, на самом крещендо, когда медь должна была взорваться апокалиптическим ревом, палочка выскользнула из вспотевшей ладони маэстро. Она описала в воздухе изящную дугу и с тихим стуком упала на пол, закатившись под пюпитр первой скрипки.

Оркестр замер. Это было сродни тому, как если бы у короля с головы упала корона.

Волков стоял на подиуме, растерянно глядя на свои пустые руки. Впервые за многие годы он выглядел... уязвимым.

Лена, первая скрипка, осторожно наклонилась, подняла палочку и протянула ее дирижеру.

— Спасибо, — тихо сказал он, и в этом слове не было привычного металла.

Он снова поднял руки, но уже без палочки. Его пальцы, длинные и выразительные, словно лепили звук из воздуха. Он не командовал. Он просил. Он умолял. Его лицо изменилось: суровость ушла, уступив место страданию и страсти, которые были заложены в музыке.

И оркестр ответил.

Без тирании тонкого куска дерева звук вдруг обрел свободу. Виолончели зарычали, скрипки запели с надрывной страстью, а медь взорвалась таким яростным и чистым зву-

ком, что у самого Волкова перехватило дыхание. Музыканты больше не смотрели на него со страхом. Они смотрели ему в глаза, они дышали вместе с ним, они стали единым организмом, живущим этой музыкой.

Когда последний аккорд «Марса» затих, в зале еще несколько секунд висело потрясенное молчание.

Волков опустил руки. Он тяжело дышал, глядя на своих музыкантов с совершенно новым выражением — смесью удивления, гордости и... раскаяния?

Семен Маркович, виолончелист, усмехнулся в свои пышные усы и тихо сказал своему соседу:

— Вот видишь, Петя. Всегда говорил.

— Что говорил? — прошептал тот.

— Для чего оркестру дирижер? Чтобы было из-под чего играть. А когда палки нет, приходится играть от души.

ХРОНОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕЛИРИУМ, ИЛИ БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ ВРЕМЕНИ



KACCA

В кассовом зале вокзала пахло вечностью и беляшами. Мужчина в мятом плаще, с лицом, на котором отпечатались все семьдесят два генсека и три президента одновременно, подошел к окошку, за которым сидела женщина неопределенно-советского возраста. Её прическа, «химическая бабетта», казалось, помнила ещё времена, когда рельсы были деревянными, а паровозы работали на чистом энтузиазме.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.